

ОТРАДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1

ПСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ

К числу отраднейших явлений русской жизни за последнее время несомненно должна быть отнесена статья г. Якушкина в «Русской беседе» о псковской полиции⁷. «Беседа» просит все журналы, более ее распространенные в публике (иначе сказать — все журналы, так как теперь уже скончались и «Московское обозрение»⁸ и не менее московский — «Атеней») дать приличную огласку этой статье, и «Свисток» с особенным наслаждением исполняет эту просьбу. Мы не могли без особенного восхищения читать мастерского очерка г. Якушкина!.. Какая смелость! Какое благородство выражений! Какое достоинство тона!.. Нельзя не пожелать, чтоб у нас почаще являлись подобные статьи, хотя, к сожалению, русская жизнь мало еще дает материалов для таких превосходных, типических очерков. Это не то, что объявления в полицейских ведомостях, обыкновенно сухие и лишенные всех приятностей слога. Нет, здесь простому полицейскому случаю придана форма вполне литературная, и притом чисто народная. Отрадno читать подобные описания; сердце каждого русского, истинно любящего литературу своего отечества, должно ощутить радостный трепет при чтении статьи г. Якушкина. Она служит ясным доказательством того, как велики прогрессы, до которых дошли мы в жизни и в литературе, вследствие широкого развития гласности. Из нее можно видеть, как выросли мы с тех пор, как появились первые ребяческие опыты

гласности в объявлениях «Свистка» об *одной* потерянной галоше... Да,

337

что ни говорите, быстро мчится вперед русская жизнь — со всеми своими несовершенствами, злоупотреблениями и пороками!.. Читайте письмо г. Якушкина к издателю «Русской беседы» и судите сами:

Моя поездка в Псковскую губернию не удалась по причинам, совершенно от меня не зависящим, и именно по следующим. Расскажу вам случившееся со мною во всей подробности. Досаду, негодование, отвращение, — словом, все испытанные мною ощущения я передавать вам не стану, да и некогда. Вы сами хорошо поймете это и без моих описаний. Ограничусь одним верным и беспристрастным изложением самого факта.

Объездив Талабское (по географии Псковское) озеро, обойдя места около Изборска и Печор, я 22 августа пришел во Псков, где хотел дней на пять остаться, потому, во-первых, что я немного простудился, а во-вторых, потому, что хотел привести в порядок свои отрывочные заметки.

Хозяева мои, Егор Васильевич Васильев и его супруга, были ко мне очень внимательны; желая их избавить от лишних хлопот, я сам отправился в полицию прописать свой паспорт.

Это было часов в 5 после обеда.

В полиции дежурный квартальный надзиратель сказал мне, что я для прописки своего паспорта должен идти в первую часть.

— Сделайте одолжение: пропишите мой паспорт, — сказал я какому-то чиновнику, входя в канцелярию первой части.

Чиновник взял мой паспорт, посмотрел на него, потом взглянул на меня — и, кажется, его поразила моя одежда: я был одет по-русски.

— Вы губернский секретарь Якушкин? — спросил он, недоверчиво смотря на меня.

— Точно так.

— Я покажу ваш вид частному приставу, — сказал он.

— Как вам угодно, — отвечал я.

Этот господин пошел в присутствие к частному приставу, через минуту вернулся и пригласил меня идти к частному, тоже в присутствие.

— Что надо? — спросил меня частный, сидевший за присутственным столом в белой рубашке и в халате нараспашку; его высокоблагородию видимо не хотелось сказать мне *вы*, а с *ты* оно относится ко мне не решилось: потому оно благоразумно избежало местоимений.

Он держал мой паспорт; ему было сказано, зачем я пришел: сам он меня позвал в присутствие; а потому и вопрос его показался мне странным.

— Пришел просить записать мой паспорт, — отвечал я.

— Губернский секретарь, — грозно проговорил частный, — как же можно так одеваться?!

— По роду моих занятий, — отвечал я со всевозможною учтивостью, — мне необходим этот костюм.

— Какие такие занятия, которые требуют мужиком одеваться?

Я подал ему письмо редактора «Русской беседы», которым подробно объяснялись мои занятия, требующие мужицкого платья.

— Все бумаги фальшивые, — сказал он, прочитав письмо какому-то господину, сидевшему за тем же столом. Тот господин посмотрел на бумаги, покачал головою и ничего не сказал.

338

— Подписи фальшивые, бумаги фальшивые! — повторил частный, обращаясь ко мне.

— Если фальшивые подписи, как вы думаете, то вы, как мне кажется, должны меня арестовать.

— Не разговаривать! — крикнул разгневанный частный, так что стекла задрожали.

— Я должен вам сказать, господин частный пристав, что я с вами как с *частным человеком* и говорить не хочу; а как частному приставу я должен вам отвечать на сделанное мне замечание, и как частный пристав вы должны меня выслушать.

— А, так!.. пожалуйста, милостивый государь, в канцелярию... Посмотрим!..

В канцелярии чиновники, слышавшие мой разговор с частным, очень недружелюбно на меня посматривали и вполголоса, однако так, чтоб я слышал, поговаривали о фальшивых бумагах:

— Да и не фальшивый вид, — заключил один, — полиция по одному подозрению может всякого задержать.

— Не угодно ли *вам* немного потрудиться: пойти с господином квартальным в полицию, — сказал частный, входя через полчаса в канцелярию, видимо желая поострить на мой счет.

Угодно, не угодно, а надо было идти, куда приказано, и я, не говоря ни слова, отправился с квартальным в полицию.

— За что вас арестовали? — спросил меня провожавший меня квартальный.

— Не знаю, — отвечал я.

— Для чего вы одеваетесь мужиком?

Я ему объяснил и показал письмо от редактора «Русской беседы».

— Верно, вас завтра выпустят, — сказал квартальный, прочитав письмо.

— Как завтра? — спросил я, не веря в возможность арестовать человека на целую ночь безвинно, по одной прихоти.

Квартальный не отвечал: ему было совестно исполнять приказание частного. Я это заметил, и мы замолчали. Я решился не давать воли своему гневу, да этого требовало и благоразумие.

— Где дежурный? — спросил квартальный, когда мы взошли в полицию.

— Ушел почивать домой, — отвечал солдат десятский из малороссиян.

— Позвать ундера!

Пришел ундер-офицер, по-видимому, лицо в полиции значительное, которое солдат величал Николаем Федосеевичем Федосеевым; приведший меня квартальный шепнул ему что-то и скрылся.

— Пожалуйте в эту комнату, — сказал мне господин Федосеев, указывая на *дежурную* комнату, или, как здесь называют, на *дворянскую* (арестантскую).

— Сделайте одолжение, — сказал я ему, входя в дворянскую, — отошлите записку к полицеймейстеру; я сейчас напишу.

— Извините, — отвечал тот, — я этого не могу сделать: от г. полицеймейстера строгий приказ: не посылать к нему из полиции никаких записок.

— Я должен здесь ночевать?

— Должны.

339

— Не могу ли я у вас попросить псковских газет? Скучно так сидеть, — стану читать.

— С большим удовольствием; а вам и свечку дам; читайте.

— Не хотите ли ужинать? — спросил меня г. Федосеев, входя ко мне вслед затем с кипюю «Псковских ведомостей» и «Русского дневника».

— Покорно вас благодарю, — отвечал я, — не хочется.

— Покушайте, — настаивал Николай Федосеевич, — щи славные! Может у вас денег нет, робко прибавил он, — так денег мне не надо: щи я вылью за окно — все равно, мне их девать некуда.

Как ни совестно было отказаться от такого радушного и честно предложенного ужина, я отказался.

— Можно здесь курить? — спросил я у Федосеева.

— Курите, сколько хотите! — отвечал тот. — Только я боюсь пожара, так я солдата здесь поставлю.

— Нет, не беспокойтесь, — я курить в таком случае не буду.

— Курите, пожалуйста, солдат во всяком случае тут будет: курите, не курите — солдат тут обязан быть.

Федосеев ушел; я закурил папироску и стал просматривать «Псковские ведомости». В одном номере этих газет было объявление о выходе «Журнала Министерства народного просвещения», в другом —

«Сына отечества»: других статей в литературном отделе не оказалось; но я никак не мог заснуть, диван, на котором я сидел, был так устроен, что на нем не только лежать, но и сидеть было довольно трудно; да к тому же солдат, легший у дверей, довольно сильно оказывал свое присутствие...

— Вы не спите? — спросил он меня часу в двенадцатом.

— Да спать нельзя, — отвечал я ему.

— Э! Нельзя! Тут еще можно; вот, случается, в арестантскую запрут: там человеку и дышать не можно, народу оттуда не выпускают; там и *поскудите*; дух такой — быть нельзя, — проговорил солдат малороссийским выговором и опять захрапел.

Я снова принялся за ведомости и никак не думал, что мне тотчас же придется побывать в арестантской, в которой *быть нельзя*, по отзыву солдата. Я захотел открыть окно; не зная хорошенько полицейских обычаев, я опасался разбудить солдата и потому довольно тихо подошел к окну.

— Куда ты, собачий сын? — крикнул проснувшийся солдат, — в окно хочешь выпрыгнуть! Я тебя...

Как я ни уверял его, что я не хочу, да и не могу выпрыгнуть со второго этажа, — солдат не верил.

На шум пришел господин Федосеев.

— Вам не угодно было тут сидеть! — сказал он, — вы хотели выпрыгнуть в окно, — пожалуйте в арестантскую!

Меня повели в арестантскую.

Вы знаете, что я хожу по деревням, выбираю избы для ночлегов поплоче; стало быть, к грязи присмотрелся, но такой грязи, какую я нашел в *арестантской*, не дай бог вам видеть: я буквально целую ночь присесть не мог: комната... нет не комната, а подвал, довольно большой,

перегороженный неизвестно для чего пополам, с мокрым полом, на котором *поскудят* и который

340

не чистят; с одним окном в четверть вышиной и в аршин длиной... И этот подвал никогда не отворяют!

— Ты за что попал? — спросил меня один арестант, мальчик лет 18, как я увидел на другой день поутру, потому что в арестантской огня не было.

— Не знаю, брат!

— Верно, стянул что?

— Нет, пока бог миловал...

— А ты за что? — спросил я его в свою очередь.

— Да от барина сбежал; напился пьян, да на улице и подняли. Вот одиннадцать дней как держат, хоть бы в баню пустили.

Баня этому мальчику была необходима: каждый волос на голове буквально был усеян известными насекомыми.

— Что ж с тобою будет?

— А приведут меня к господам своим, те ту же пору половину головы сбреют, выпорют, а там через три дня еще выпорют; а там еще через три дня выпорют: до трех раз, да и оставят.

— А разве бывало уж с тобою это?

— В другой раз... Не знаешь ли ты, человек милый, сказки какой? Спать не хочется.

Я стал ему рассказывать историю Ветхого завета.

— Однако, я вижу, ты из книг говоришь, — сказал мужик, выходя из-за перегородки нашей арестантской, и до того времени там спавший.

— Верно, ты слыхал, а может и сам читал эти книги? — спросил я его.

— Попы читают, — отвечал тот позевывая. — Скажи, человек *душевный*, за что тебя схватили? — спросил он меня.

— Я не мужик, а надел мужицкое платье; за это и посадили.

— Как, за мужицкую одежду?

— Да, за мужицкую одежду.

— Да разве мужик не человек?

На этот вопрос я не знал, что могу сказать, а потому и не отвечал ему.

— Мужик тоже человек! — убедительно говорил мой новый товарищ. — Рассказывай, что в книжках читал! — прибавил он, немного помолчав.

Я стал продолжать рассказ истории Ветхого Завета. Дошло дело до Иосифа.

— А, друг любезный, — спросил меня мужик: Иосифа прекрасного?

— Ну да, Иосифа прекрасного...

— Говори, говори, — одобрительно проговорил мужик.

— Сидел Иосиф в темнице, в которой сидели также хлебодар и виночерпий...

— Все равно, как мы здесь в тюрьме сидим, друг задушевный, — перебил меня мужик. — Присядь да рассказывай; что ты все стоишь? Присядь.

Я отказался от его приглашения: рассказывать мне наскучило, и я спросил мужика: за что он сидит?

— А вот видишь ты, друг душевный, заболела у меня губа; пошел я, друг душевный, к волхвам, а те волхвы дали мне траву — прикладывай, мол, к больной губе. И разнесло ж губу, сказать нельзя!.. Прихожу к барыне... а барыня у нас милосердая... «Ты, говорит, теперь человек убогий, — ступай

сам корми свою душу». Вот в третьем году напился я пьян, — завалился на улице; меня поднял Архипка... десятский здесь... переночевал. Поутру в присутствии, к полицеймейстеру. — «Зачем пьян напился»? — крикнул тот. — Так и так: получил деньги за работу... «Посадить»!.. Ну, друг любезный, здесь царство небесное; а не приведи тебе господь побывать в земском суде — просто быть нельзя... Повели меня, доброго молодца, из полиции в земский суд, продержали там меня ровно две неделечки, а там отправили к становому, в стан... У станового я тебе скажу, друг любезный, сказать нельзя как хорошо: выйдешь себе на крылечко, закуришь трубочку и сидишь... Становой мимо пройдет, крикнет: «ел щи?» — Ты ему, сам разумеи, скажешь: ел, не ел ли. — «Не ел! Дать щей!» — Вот, друг любезный, продержали в Изборске в стану дней пять, послали к барыне, а барыня говорит: не надо мне его. Меня опять к становому, от него в земский суд, из суда в полицию, а тут уж и выпустили.

— А теперь—то тебя за что взяли? — спросил я.

— Видишь, друг любезный, работал я у мужика... верст пять от города... хлеб убирал; хозяин привел меня в питейный. Деньги все мне отдал, да и поил на свои... Было, друг душевный, выпито немало!.. Пошел я домой, да и зашел под дилижансы: отыскали там меня, да в полицию; было 80 копеек — и те пропали!

— Слава богу, — сказал я.

— Какой — слава богу? 80 копеек, говорят тебе, пропали!

— На 80 копеек опять бы напился, опять бы взяли, — сказал я.

— Куда ж деть?! Напился б... а пожалуй и взяли б: мне такое счастье! Как напьюсь, так и возьмут: и во хмелю хорош!..

— Опять бы продержали неделю, — продолжал я.

— Ну нет! Неделей не обойдешься: дай бог в месяц покончить; да и то еще как бог приведет!

— Теперь же что с тобой будет?

— Теперь опять в земский суд, а там к становому; становой пошлет к барыне; а та барыня опять скажет: «А ты мне не надобен». Опять поведут в стан в Изборск; а из Изборска в земский суд; а из того земского суда в полицию. А тут увидит полковник полициймейстер, скажет собачьего сына, да и выпустит... Я ничего не боюсь, — прибавил он: сидеть помалу случается, скучно бывает, а я духу не боюсь!..

Рассвело. Было около 9 часов, приехал в полицию частный пристав.

— Где губернский секретарь Якушкин? К частному!

Повели меня вверх.

— Как вы смели надевать ордена? — спросил меня ласковым голосом частный.

— Как ордена? — спросил я, изумившись.

— Его видели в орденах в среду, а он не знает! — продолжал частный.

— Кто же видел?

— А вот кто! — сказал он, указывая на служащего в полиции чиновника, который был в присутствии.

— Да, я видел: вы шли из собора, — заговорил чиновник: я посмотрел на грудь, а грудь вся орденами завешана... Я еще подумал: какой молодец!

— В этот день вы меня не могли видеть в Пскове, — отвечал я ему, — не только в орденах, но и без орденов: я в этот день был в Изборске у тамошнего благочинного.

— Это мы справимся! — сказал, улыбаясь, частный.

— Я вас прошу справиться.

— А как вы, милостивый государь, в окошко хотели выпрыгнуть? — самым любезным голосом продолжал частный.

Не помню, отвечал ли я что-нибудь на этот вопрос. Кажется, нет.

Приехал полицеймейстер. С первого раза видно было, что он человек, что называется, *добрейший*, с ловкими новейшими манерами и веселого нрава...

— Зачем вы приехали в Псковскую губернию, — спросил он, когда меня снова ввели в присутствие.

Я ему вместо ответа показал письмо от редактора «Русской беседы».

— Где вы учились?

Я ему сказал.

— Да... вот ваши бумаги, возьмите их! Где вы остановились? — спросил он.

— У Егора Васильевича Васильева, — отвечал я.

— В конторе Рижских дилижансов... знаю. Прощайте, можете идти, куда угодно.

— Позвольте, полковник, — заговорил я, немножко обиженный такою милостью, — ежели я виноват, то должен быть наказан: я не хочу от вас никакой милости, а ежели понапрасну меня задержали здесь целую ночь, то вы должны наказать того, кто меня сюда посадил.

— Да чем же вас обидели? — спросил меня полицеймейстер.

— Как чем? — спросил я, удивленный этим вопросом: целую ночь просидел здесь... Разве я подозрительный человек?

— О нет! — отвечал он, было б хоть мало подозрения, я б вас не выпустил! У нас это не считается за порок, — продолжал любезно полицеймейстер, — у нас свои чиновники... и тех сажают!

— Ваши чиновники могут не обижаться...

— Чего вы хотите? — прервал он меня.

— Позвать прокурора и объявить ему это происшествие.

— А — а!... к губернатору! — крикнул полицеймейстер.

Квартальный надзиратель с будочником повели меня, но не к губернатору, которого в Пскове в то время не было, а к какому-то «начальнику», управляющему губернией. Этого начальника на ту пору не было дома. Через четверть часа приехал полицеймейстер...

— Его превосходительство едут, — торопливо проговорил дежурный чиновник, взглянув в окно.

Вошло его превосходительство.

— Я думаю послать за справкой в Малоархангельск, в земский суд, — сказал он, просмотрев мои бумаги.

— Помилуйте, ваше превосходительство! — сказал я, вспомнив недавние рассказы о том, как в полиции и в земском суде скоро дела делаются, — это долго протянется...

— Довольно долго, а вы пока посидите в полиции!

Меня обратно привели в дворянскую. Минут через десять вошел ко мне полицеймейстер, наговорил любезностей, назвал меня «мой милый» и ушел. Едва успел он уйти, как вошел старик квартальный.

— Что ты задумал? — закричал он, — с самим полковником* (*энергическое слово*)! Да и как ты, губернский секретарь, смел носить мужицкое платье! — Я тебя в Сибирь упеку (*энергическое слово*)!.. Я своему государю подпоручик, хоть худенькое платье, но все дворянское...

Вовсе не чувствуя самолюбие свое оскорбленным квартальнической бранью и не желая перебранкою становиться с ним на одну доску, я ему не отвечал ни слова, несмотря на то, что эта брань продолжалась более часа. К вящему моему удовольствию этот строгий господин не позволил затворять дверей, и все просители, приходившие в полицию, считали долгом *подивиться* на меня.

Был час уже четвертый, а есть мне не хотелось, и я снова не мог не отказаться от предложенного мне Николаем Федосеевичем обеда.

— Милый мой! — проговорил полицеймейстер, входя ко мне в дворянскую на другой день поутру. — Зачем вы здесь сидите?

— Вам угодно было посадить меня.

— Ступайте, сейчас же ступайте!

Я вышел. Расстроенный, не евши и не спавши почти двое суток, я не захотел ни минуты оставаться во Пскове и ушел в г. Остров. В это время я переменял свою поддевку на худенький кафтанишко. На третий день возвратился в Псков и взял билет, чтобы по чугунке ехать в Петербург.

* Подполковников в этом быту всегда величают полковниками.

Я был уже в вагоне и очень спешил уехать. Почему—то все еще боялся приключений. К несчастью, мои опасения оправдались. Когда я думал: обойдется ли дело без них, — раздался громкий голос в дверях вагона:

— Кто здесь в очках?

Дело, очевидно, касалось меня, но я молчал.

— Да тут нет в очках, — проговорил какой—то мужичонко. — Лезь под лавку, — шепнул он, толкнув меня локтем.

Я не решился на этот подвиг.

— Я его узнаю, сейчас же узнаю, — кричал какой—то квартальный, влезая в вагон и с этими словами, схватив меня за ворот, вытащил из вагона.

Этот квартальный, как после оказалось, имел удивительные предчувствия: они, по его словам, никогда не обманывали, и, к несчастью, эти предчувствия заставляли его думать обо мне бог знает что.

Здесь же был и частный.

— Э! — кричал квартальный, — да ты не простая птица! Пять минут своими глазами видел тебя в плисовой поддевке. Ты у меня заговоришь! Зачем переодеваешься?

344

— Пять минут вы не могли видеть меня в плисовой поддевке: гораздо раньше я ее переменил, — отвечал я.

— Каков! — продолжал квартальный, обращаясь к частному, — своими глазами видел его в плисовой поддевке: я за ним два часа смотрел.

— Я сам видел, — решил частный.

— Что ты на это скажешь? — грозно крикнул квартальный.

— Нельзя ли слово *ты* выкинуть из вашего разговора? — сказал я.

Квартальный было расхотелся; но частный его усмирил.

Около нас собралось довольно много мещан и мужиков. Из этой толпы слышались слова: «ученого схватили»... Эти слова были произнесены многими с заметным ко мне сочувствием.

Квартальный с частным поехали к полицеймейстеру, а меня будочник повел в полицию, откуда приехавший за мной квартальный повез и меня к полицеймейстеру.

— Здравствуйте, мой милый, — сказал мне полицеймейстер, когда я вошел к нему. — Какой костюм!

— Скажите, полковник, — спросил я, — за что меня схватили?

— За переодеванье, мой милый!

— Пять минут назад я видел его в плисовой поддевке, — проговорил, улыбаясь, частный.

— И я тоже, — подтвердил квартальный, — мы его караулили.

Опять повели меня в полицию, где я высидел снова *шесть* дней!. Я хотел писать в Петербург, в Москву к своим знакомым, но мне не позволили. На третий день мне задали какие-то *вопросные пункты*: какого я вероисповедания, женат или нет, есть ли дети и где оные находятся, знаю ли я грамоте и т. п. Я тотчас же написал, что я вероисповедания православного, холост, грамоте знаю, и отдал эти *вопросы* квартальному, который мне сказал: «Напрасно торопились, эти бумаги раньше недели никуда не пойдут».

Сидели ли вы в карцере? — скучно сидеть одному! Но вы не можете себе представить, что испытывает человек, когда его не оставляют ни на минуту одного, а в моей комнате постоянно, и день и ночь, сидел десятский.

— Христа ради, позвольте мне написать моим знакомым, — несколько раз говорил я полицеймейстеру.

— Пишите, милый мой, пишите — *мечтайте!* — обыкновенно отвечал тот.

Но вот беда: никто не брался отнести мои письма на почту, боясь учинить беззаконие.

Погода была дурная и довольно холодная: полицию стали оклеивать новыми обоями и все окошки открыли.

— Позвольте мне хоть одну строчку написать в Москву, — сказал я полицеймейстеру, когда тот, уже в четвертый день, вошел ко мне и успел уже назвать меня «мой милый».

— Пишите, кому хотите!

— Здесь никто не берется отнести мои письма на почту, — прикажите!

— Эй, квартальный! — крикнул полицеймейстер. — Я тебя!..

Не помню хорошенько всей фразы, сказанной полицеймейстером квартальному; могу только сказать, что эта фраза была очень энергична.

345

Разумеется, я воспользовался этим позволением и тотчас же написал три письма; позволение я получил в исходе 12 часа, на почте принимают до 12 часов; я торопился, и, верно, мои письма не совсем были складно написаны. Одно из них было адресовано к одному довольно значительному лицу в Москве...

— Скажите пожалуйста, — говорили мне потом в полиции, — видно по вашим письмам, да и сами вы говорите, что вашими занятиями интересуются *такие* люди; как же они допускают вас до такого положения?

— Как до такого?

— Да помилуйте, худой кафтанишко...

Этим господам я никак не мог растолковать: для чего я ношу такое платье.

— Что вы здесь делаете, мой милый? — спросил меня полицеймейстер, входя ко мне на шестой день в дворянскую.

— Помилуйте, полковник, отошлите меня в острог; здесь быть нельзя, вы сами видите.

— В остроге хуже... а даете ли мне слово выехать из Пскова... нынче же.

— Непременно выеду.

— Ну, прощайте, мой милый!.. ничего об нем не писать! — крикнул полицеймейстер в канцелярию.

Я в тот же день уехал из Пскова.

Как ни неприятны мне воспоминания об этой истории, но и в ней мне видны светлые минуты: с искренним удовольствием вспоминаю участие, которым я пользовался от Николая Федосеевича Федосеева*, никогда не забуду жены десятского, которая приходила ко мне с предложением поиграть в мельники. Трудно представить себе, как эти добрые люди, видя человека в несчастье, искренно, родственно желали облегчить минуты тяжкого моего плена.

Посылаю им привет, жму руку им и десятскому, который заподозрил меня и засадил в арестантскую не дворянскую — *в ней же быть нельзя* — и который после совестился взглянуть на меня и избегал со мною встречи.

Долгом считаю сказать: 1) что ни Николаю Федосеевичу, никому из десятских, ни их женам — я не дал ни копейки; да и никому из полицейских чиновников; кроме древней серебряной копейки, которую я отдал сам квартальному надзирателю под сохранение и которая, я уверен, будет мне возвращена.

* Унтер-офицера полиции.

2) Что никто моих бумаг (у меня других вещей с собой не было) не осматривал: три раза арестовывали без допроса; три раза выпускали, и каждый раз выпускали, говоря, что я человек неподозрительный.

3) Обо мне никаких справок не делали.

Если полиция находила мой костюм незаконным, она не имела права меня миловать. Если находила мои бумаги фальшивыми, как же меня выпустили? Если свидетельство чиновника о надеванных будто бы мною орденах и квартального (хвастовавшегося предчувствиями) о моем переодеванье — уважительны, отчего не было произведено следствие? Если они ложны, так как же допускать подобную легкость лжесвидетельства и терпеть таких людей

346

в полиции? Как же можно так обращаться с личностью человека? Этот произвол не выкупается ни гвардейскою любезностью полицеймейстера, ни позднею учтивостью частного пристава.

Павел Якушкин.

347